

**ИСТИНА И ЖИЗНЬ** ([istina.religare.ru](http://istina.religare.ru))

постоянный адрес публикации: <http://www.istina.religare.ru/article71.html>

---

Светлана Панич

## **"Скажите, вы любите кошек?"**

Год назад не стало Сергея Аверинцева

**"Всё, сделанное Сергеем Сергеевичем, предполагает длительное усвоение и, значит, воспоминание. Пусть его наследие и он сам объединяют людей для служения Господу..." Поминальное слово в годовщину кончины академика Сергея Аверинцева, 21 февраля, звучало на его могиле на Даниловском кладбище в Москве.**

Этот текст был написан год назад, сразу после ухода Сергея Сергеевича Аверинцева. Писала главным образом для себя и долгое время прятала, считая слишком легкомысленным и личным. Но вот осмелилась предложить его "Истине и Жизни".

Боже, слова отступают  
От утлого естества человека,  
К чувству нашему плотскому  
Неразгаданно-безучастны...

Сергей Сергеевич Аверинцев ушёл в канун Прощёного воскресенья. В этом, как и во всём, что творится в жизни, есть очень глубокий смысл. Прощёное воскресенье ему больше не нужно. Он уже всех простил.

От всего моего смертного сердца,  
согласного на истленье,  
прощаю обидевшим,  
только кто же меня обидел...

Не буду перечислять все его титулы и регалии — там, где он сейчас, никакой ценности они не имеют, да и здесь не очень-то уютно чувствовал себя Сергей Сергеевич в академической "кумирне". Другое дело — коты. "Блажен человек, что лелеет своего кота..." Сколько их вообще было, наверное, не знает никто. Мне довелось застать троих — Асю, Мусю и Кусю. За каждой тянулась своя рождественская история. "И малым подаётся милость, и Бог вечеряет с убогим..." Истории эти — таков закон жанра — рассказывали снова и снова, и один только Господь ведаёт, сколько чванных сердец, слушая их, становились чуть больше похожими на сердце. Ни в историях, ни в самом событии рассказывания их не было ни доли сантимента — Сергей Сергеевич знал цену слезливости и слезам; было другое — свойство, именуемое почти забытым сейчас словом "учтивость". А ещё безмерная жалость — "милость без меры и предела", недаром жалеющая святость Юлиании Лазаревской была ему куда роднее карательного благочестия "Домостроя". (Сергей Сергеевич говорил об этом, выступая в 1999 г. в Москве на конференции "Семья на пороге тысячелетия", посвящённой памяти о. Александра Меня; впоследствии доклад был опубликован в "Новом мире" под названием "Горизонты семьи. О некоторых константах традиционного русского сознания".) Впрочем, учтивость и жалость — не только к котам и слабым, к той незнакомой краковской старушке, которой Сергей Сергеевич, извиняясь за собственную неловкость, помогал спуститься по крутой лестнице. И то и другое распространялось на весь прочий мир, не исключая и самую трудновыносимую его часть — неизбежных в каждом храме и монастыре блюстительниц устава, малообразованных редакторов, досужих вопрошал и коллег-гуманитариев, которые охотно цитировали, но далеко не всегда понимали, что стоит за этим "пиршестввом мысли".

Я не смею рассуждать об особом значении личности Сергея Сергеевича Аверинцева для российской (и не только российской) словесности, о том, как обогатил он понятиями и именами гуманитарную науку, каким утешением было

предложенное им определение филологии как "науки понимания", о том, как его слово вразумляло и удерживало от греха филологического многих из нас. Найдётся немало тех, кто сделает это гораздо лучше меня. Позволю себе лишь одно воспоминание.

Лекция Аверинцева была задумана как кульминация посвящения нас в студенты. Сперва, как водится, выступили филфаковские "бонзы" — декан, завкафедрами и т. п., а следом за ними на кафедру даже не поднялся, а как-то почти вскарабкался неуклюжий человек в очках. Конечно, из всего, что говорил Аверинцев о природе филологической науки, нам, первокурсникам, были доступны главным образом местоимения и служебные части речи, но, в конце концов, это было не так важно. Куда сильнее поразило другое: вот они — профессора, доктора филологических наук, а Аверинцев — раб Божий. Смысл этих слов, конечно же, до конца не понимался, но по-другому описать увиденное было нельзя никак.

Похожее чувство вызывали и тексты. При всей академичности они будоражили не только мысль, но и что-то поглубже. Чутьё подсказывало, что кроме широчайшего научного кругозора, удивительного умения любовно всматриваться в культуру и видеть пронизывающие её "нити", кроме редкой во все времена свободы за каждым словом стоит опыт не выразимых словами отношений. Иначе разве могла бы монография по поэтике ранневизантийской литературы стать катехизисом для интеллектуалов безбожной эпохи?

Но здесь опять-таки "безопасней избрать молчание", памятуя о том, как предостерегал Сергей Сергеевич против соблазна описывать и тем более оценивать чьи-то отношения с Богом. Он не скрывал своих взглядов, но и не демонстрировал их, а являл — самым строем мысли, той ребячливой, застенчивой простотой, с какой говорил он о вещах, требующих, казалось бы, иной, пафосной речи.

"Ко мне прицепилась и не отпускает чуть смешная строчка:

*"С миром державным я был лишь ребячески связан..."\**

Ведь и правда. Если бы не было жаль чудных мандельштамовских слов, можно было подставлять: вместо пресловутой тоски по мировой культуре, понимаемой на манер эрудитства какого-нибудь Элиота, — с миром культурным я был лишь ребячески связан... Ну и так далее. Разумеется, словесно игра некрасивая, и затягивать её не след. Но по смыслу — всегда выйдет так. *Ребячески!*

Это сказано о Мандельштаме, но снова, как и во всём, что писал Сергей Сергеевич, — на самом деле о себе и ради нас. Слово "ребячески" может смутить. "Несерьёзно", дескать, особенно если серьёзность понимать как солидность и угрюмость. Но ведь "ребячески"-то как раз и означает не "понарошку", а всерьёз, со всей ответственностью, до самого конца, как дружат в детстве с животными и людьми. Только из предельно серьёзного отношения к жизни и культуре могла родиться та удивительная, без амикошества, сердечность и игручесть любого аверинцевского текста — Плутарх для него "добрый", а первые монахи — "грубоватые и хмурые египетские мужики", — которая нередко смущала "учёных людей" и честолюбивых читателей. Сергей Сергеевич не обижался — он на свой, ребяческий лад нас от этого соблазна избавлял.

Краков, 1996 год. Вы всю ночь готовитесь к встрече с "самим Аверинцевым" (Сергей Сергеевич с Натальей Петровной приехали на юбилей издаательства "Znak"), приводите в порядок филологический багаж, мучительно выискиваете "достойные" темы, при встрече старательно выговариваете многожды отрепетированную фразу о том, какое впечатление на вас произвела... и слышите в ответ: "Скажите,

а вы любите кошек?" "Да, конечно, — обрадованно, но не без обиды (что, со мной и поговорить больше не о чем?!) произносите вы. — Да, конечно, толстый, серый, звать Шкаф". — "А какой у него диминутив?" Повисает трагическая пауза. Вы начинаете лихорадочно тасовать в памяти лингвистическую терминологию. Диминутив кота? Этого вы не повторяли! А Сергей Сергеевич чуть лукаво смотрит на вашу растерянную физиономию и тактично подсказывает: "Как его ласково зовут?" — "Шкафочка..."

Коты вели к Чосеру и Честертону, и как бы мимоходом Сергей Сергеевич отвечал на непроговорённые вопросы. Потом мы стояли у синагоги Темпл, что на краковском Казимире, и Сергей Сергеевич чуть нараспев читал псалмы:

Поднимитесь, косяки врат,  
древние двери, раздайтесь ввысь,  
и Царь славы войдёт!

Царь славы — кто есть Он?  
крепкий и могучий Господь,  
могучий в бранях Господь!

Казалось бы, чего ещё надо? Но вам всё неймётся, и вы просите об интервью. Сергей Сергеевич смиренно соглашается. Снова бессонная ночь, снова из пальца высасываются "концептуальные вопросы", в сотый раз проверяются батарейки, кассета, голова... После доклада (Сергей Сергеевич говорил тогда об опасности нового, на сей раз христианского, тоталитаризма — тема, которая всё чаще будет появляться в его выступлениях и уже почти предупреждением прозвучит в Киеве в 2002 году) вы хватаете обессилевшего Аверинцева, нажимаете кнопку "запись", берёте дыхание — и тут диктофон заклинивает раз и навсегда. Ничего не остаётся, как снова говорить о котях.

...ибо там, где котёнок,  
и трон, и держава,  
и повсюду сидит он на царском престоле.

Это — любимый Аверинцевым Вениамин Айзенштадт, подписывавшийся псевдонимом "Блаженный". Вообще, если вдуматься, кого выбирал Сергей Сергеевич из многоликой истории литературы? Именно их — "блаженных", сырых, непонятых, литературных неудачников по человеческим меркам. Кому в "года глухие" было дело до Венанция Фортуната, Иоанна Постника, Нонна из Панополиса (ряд имён можно продолжать долго)? А вот ему было. Он деликатно, но настойчиво вводил в наш читательский обиход "опальных" византийских поэтов и западных мистиков, оправдывал Гессе, открывал никому не ведомого, да и сомнительного к тому же Тракля, защищал от мемуаристов и литературоведов Мандельштама. Одна из его последних книг — тоже о сначала забытом, а потом непонятом поэте, сердечно близком Аверинцеву "скворещниц вольных гражданине" Вячеславе Иванове. И дело здесь, наверное, не только и не столько в филологической дотошности, сколько во всё той же "ребяческой связи", не терпящей несправедливости — литературной, исторической, социальной, любой. Сергей Сергеевич защищал обиженных и гонимых даже тогда, когда многие весьма почтенные люди предпочитали уклоняться, ссылаясь на "особенности момента", "условия" и "обстоятельства". Не то чтобы он был храбрее в житейском смысле; но сказано "не сообразуйтесь веку сему", вот Сергей Сергеевич и не сообразовывался. Даже когда — ради общего дела — просили друзья. Если же из сострадания к ним и приходилось участвовать в "поклонении Ваалу", Сергей Сергеевич со свойственным ему остроумием умел так расставить акценты, что панегирик оборачивался филиппикой и стыдно становилось даже тем, кому не положено стыдиться по долгу службы.

Так же обстояло и с вопросами: на провокационные Сергей Сергеевич отвечал с обезоруживающей и устыжающей прямоотой, на нелепые или наивные — так деликатно и терпеливо, что вопрошателю начинало казаться, будто он и впрямь что-то смыслит. "Как вы знаете, это вопрос спорный..." У Сергея Сергеевича был редкий дар — открывать собеседнику, каким бы невразумительным тот ни казался, его равнодостоинство, вытягивать его до той точки, где возможна встреча. Он так великодушно распахивал перед нами двери в дорогие для него миры, что начинало казаться, будто ты и сам — их житель, и мыслить так почти ничего не стоит, и всё это тебе, конечно же, знакомо, и перевод этот ты уже когда-то слышал — потому что иначе быть не может. И как легко было оказаться умным за его счёт, а Сергей Сергеевич только улыбался, и прощал, когда растаскивали его на цитаты, и жалел... А что с нами ещё делать?

Мы же, наоборот, не жалели — и всё требовали, требовали статей, предисловий, переводов, соответствия нашим придумкам, навешивали неудобноносимые бремена почестей. Сохранилась групповая фотография, сделанная в перерыве одной из конференций, проходивших в Киево-Печерской лавре: довольные собой и соседством, уверенно глядящие в объектив люди — и только Сергей Сергеевич (а ради него, главным образом, всё и затевалось) стоит, смущённо и скорбно опустив голову. "Помолитесь обо мне, отцы и братья, я многого не понимаю..."

Достаточно прочитать хотя бы его "Смиреников" — и видишь, что нет в этом никакой позы. Сергей Сергеевич был абсолютно равен себе и каждому своему слову. Именно поэтому всё, написанное им, прежде всего поэзия, обладает плотностью и устойчивостью молитвенного текста и чуть ли не с первого прочтения начинает жить в тебе как молитвенный текст, подсказывает слово, когда кажется, будто уже нечего сказать. "Пустоту мою исполни Тобою..."

В последний раз довелось встретиться с Сергеем Сергеевичем осенью 2002 года на конференции в Киево-Печерской лавре, а до этого — в том же году на Пасху. Мы сидели в венской (и такой московской) квартире Аверинцевых, по

иронии соседствовавшей со сквером имени Зигмунда Фрейда. Сергей Сергеевич (считалось, что обсуждается тема его доклада на предстоящей киевской конференции) рассказывал о своих родителях, о "заградительной стене" коммуналки, об отцовском друге, возившем его к пасхальной всенощной в Троице-Сергиеву лавру, читал стихи. Уже не помню в связи с чем, заговорили об очередных наших политических передрыгах. Сергей Сергеевич нахмурился, хотел было что-то, по всей видимости, не слишком любезное, сказать, но вдруг весело замахал руками: "Да, да, а Бог всё это победил, победил, победил". И тут же стал сетовать на некоего венского журналиста, который обозвал его в статье "русским диссидентом" и поставил в один ряд с Сахаровым и другими достойными людьми. "Как он мог, — сокрушался Сергей Сергеевич, — кто я по сравнению с ними..." Вышло так, что статью эту я по случайности унесла, и стоит она на полке по сей день. Статья как статья — в чём-то глупая, в чём-то бестактная, но самое главное там не текст, а фотография: Сергей Сергеевич на фоне книжных полок (ну где же ещё русских академиков фотографировать?), чуть растерянный, добродушный, даже немного озорной.

"На том стою, и нет со мною сладу..."

Под конец зашёл разговор о будущих книгах. Среди прочего вспомнили о давней идее антологии "Коты в европейской поэзии". Сергей Сергеевич тут же предложил сделать "первый взнос" — и подарил сонет, посвящённый Вячеславу Иванову, которого домашние называли Большим Котом, *Carogatto*.

Вновь, подворотен римских пилигрим,  
В урчливый час вечерним  
"salve, gatto"

Приветствуем и ныне, как когда-то,  
Святынь твоих присельник,  
вечный Рим.

Мы Трою предков пламени дарим;  
Но несмутим, как на своём *ritratto*,  
На глупых нас взирает *Carogatto*  
И не велит вопить: "горим, горим".

Ведь он и впрямь сумел восстать  
из пепла:

Не возмогла вселенной ерунда  
Смутить души его святое "да";  
И песнь его в изгнании окрепла,  
И мудрость в час вечерний не ослепла;  
Сие пример нам, кошкам, навсегда.

А вопить хочется. Не только потому, что слишком мало осталось людей, способных так прямо стоять и с такой обезоруживающей прозрачностью говорить правду. Страшно другое: превратят его в "тему", внесут в историю культуры, станут "делать на нём" статьи, диссертации, имена... Одна только надежда — там, на небесах, Сергей Сергеевич будет так отчаянно этому сопротивляться, что всё тщеславное и пустое в наших рукописаниях разлетится в прах под неслышный смех котов.

У Бога свои суды, но что-то подсказывает: "Там всё в порядке". А если уж о ком вопить, то о себе. Потому что дальше идти и сохранять прямохождение — "помните, человек устроен вертикально" — нам предстоит самим.

Киев, Украина

\* Здесь и далее, если не указано иначе, курсив С. С. Аверинцева.